

1008291

МЮЛЕРМОНТОВ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

~~2 21345~~

I 512.14
1 49 (2)
(1)

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ
(1828-1834)

Вступительная статья
П. Г. Антокольского

Составление и подготовка текста

Б. М. Эйхенбаума

Примечания Э. Э. Найдича

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД · 1964

Настоящее издание представляет собой избранное собрание стихотворных произведений М. Ю. Лермонтова в двух томах. В первый том включены стихотворения, поэмы, драмы 1828—1834 гг., во второй — произведения 1835—1841 гг. Издание открывается статьей П. Г. Антокольского. Тексты и примечания обогащены вновь найденными материалами. В особом разделе даны другие редакции и варианты.



ЛЕРМОНТОВ

Лермонтов требовательно напоминал о себе, его образ и его творчество вставляли во весь рост перед новыми поколениями в самые переломные и трагические годы нашего века. Столетие со дня рождения Лермонтова совпало в 1914 году с началом первой мировой войны, столетие со дня гибели — в 1941 году — с началом Отечественной.

В силу этих исторических совпадений ни одна из памятных годовщин, ни в 1914, ни в 1941 году, не носила характера всенародного чествования. Тем самым итог изучения лермонтовского творчества был известным образом смят, по-настоящему не подведен. Материал между тем накоплен гигантский. Каждое из поколений вложило сюда и ревностный труд, и исторически обусловленное понимание, и находки текстов и документов.

«Лермонтовиана» огромна, но мозаична. В ней нет преемственности, которая с давних пор установлена в пушкиноведении. Новаторство уживается рядом с устарелыми взглядами и сведениями, фантастический домysel — с документальными данными. Над многими утверждениями господствует благодушное сослагательное наклонение: «Мог бы...» В самом деле, почему Лермонтов не мог бы познакомиться с таким-то и таким-то, если оба они в одно и то же время находились в одном и том же месте? Историк такого рода предположения противопоказаны.

Каждого, кто вчитывается в Лермонтова, поражает его характер, проявившийся в первых же его стихах, в дальнейшем обозначившийся все более резко, но ни разу не изменивший себе. При знакомстве с жизнью поэта этот характер поражает еще сильнее.

Он поражал и современников, но они находили ему превратные объяснения.

В 1840 году, за год до гибели Лермонтова, его видел еще более молодой, чем он, и совсем еще неизвестный тогда Тургенев. Его поразила внешность знаменитого гусара. В ней было, вспоминал в старости Тургенев, «что-то зловещее и трагическое. Какой-то недоброй и сумрачной силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно темных глаз». ¹

Несколько дней спустя Тургенев еще раз увидел Лермонтова на великосветском маскарадном балу, среди множества женских масок, которые «беспрестанно приставали к нему, брали его за руку; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места, молча слушал их писк, поочередно обращал на них свои сумрачные глаза. Мне тогда почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки...» ¹

и т. д.

Тургенев чудесный и зоркий наблюдатель. Среди многих портретно-литературных зарисовок Лермонтова, сделанных «с натуры», тургеневский портрет на первый взгляд кажется живым и убедительным. Во всяком случае, он сделан художником слова на основе сознательного отбора всех средств, подвластных писателю.

Однако он внушает тревогу! Воспоминания Тургенева — поучительный образец того, как складывалась легенда о Лермонтове, демоническом госте светских гостиных и маскарадов, где веселилась дворянская и чиновничья чернь. Восторженный поклонник прочел на лице любимого поэта то, что хотел прочесть, — то, что уже вычитал из лермонтовских стихов.

Тургенев писал свои мемуары по меньшей мере через пятнадцать лет после 1840 года. Лермонтова давно уже не было в живых. Как это часто случается с мемуарами, тургеневские органически вобрали в себя не только былое, но и думы о былом: они отражают реальные события в позднейшем ретроспективном освещении.

На протяжении всего прошлого века и в начале нашего легенда

¹ И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 10. М., 1956, стр. 330—331.

о «демонизме» поэта невозбранно господствовала и в литературоведческой науке. Лермонтова изображали в отрыве от эпохи, от среды, окружавшей его, от его собственной, несчастливо и трудно сложившейся жизни. В нем видели существо, своей же недюжинностью обреченное на гибель, в самом себе несущее зародыш душевной смуты и мрака — имманентный демонизм. На этом настаивали прежде всего многие современники, знакомцы и приятели, особенно же приятельницы Лермонтова, оставившие потомству счета своих маленьких и неумных обид на поэта. Они рисовали его нелюдимым, странным, неприемлемым для их представлений о приличиях — только потому, что оказались ему не по росту.

И тень черного крыла ранней гибели заслонила от современников живое смуглое лицо юноши, с которым им посчастливилось встретиться в Петербурге или в Москве, в саду деревенской усадьбы или на пыльном бульваре в Пятигорске. Случай нередкий в истории литературы.

Сейчас мы не только чувствуем внутреннюю неполноту и недовершенство любого лермонтовского портрета, стилизованного если не под Демона, то под Печорина, или даже под Грушницкого, но сверх того доподлинно знаем, насколько богаче было живое содержание личности Лермонтова. Оно было и сложнее и проще в одно и то же время. Главное же в том, что он был молод! Молодость, молодость — вот ключ ко всем его «загадкам», если уж употребить это слово.

Стоит привести еще одно свидетельство, завершающее сказку о Лермонтове, реконструированную позднейшими потомками. Оно тем более заслуживает внимания, что полно такой же глубокой любви к оригиналу, какая была у Тургенева, а поэтически едва ли не фантастичнее всех остальных. Оно принадлежит Александру Блоку и было написано шестьдесят лет назад:

«Лермонтов восходил на горный кряж и, кутаясь в плащ из тумана, смотрел с улыбкой вещей скуки на образы мира, витавшие у ног его. И проплывали перед ним в тумане ледяных игол самые тайные и знойные образы: любовница, брошенная и все еще прекрасная, в черных шелках, в «таинственной холодной полумаске». Проплывая в туман, она видела сны о нем, но не о том, кто стоит в плаще на горном кряже, а о том, кто в гусарском мундире крутит ус около шелков ее и нашептывает ей сладкие речи. И призрак с вершины с презрительной улыбкой напоминал ей о прежней любви своей...

В этом сцеплении снов и видений ничего уже не различить — все заколдовано; но ясно одно, что где-то в горах и донныне еще пребы-

вает неподвижный демон, распростертый со скалы на скалу, в магическом лиловом свете...»¹

Лирическая проза молодого Блока (приведенная здесь в отрывках) по-своему поучительна как полное преображение живого образа, полный отрыв от какой бы то ни было правды жизни. Поистине — «в этом сцеплении снов и видений ничего уже не различить». Но Блок великий поэт, к нему стоит прислушаться.

Ему помогал врубелевский демон, помогало мировоззрение символиста, а больше всего — собственная молодость. Совершенно не помогала ему наука о Лермонтове, ее тогдашнее состояние. Она была скудна материалом и порочна по методу. Блок сам хорошо это знал и в своей рецензии на книгу профессора-начетчика Котляревского с большой язвительностью говорит о пороках профессорского «труда». Он предвидит возможность иного знания о поэте и настаивает на его необходимости: «Лермонтовский клад стоит упорных трудов».² Шестьдесят лет, прошедшие с той поры, были полны такого упорного труда. Многие в Лермонтове открыто заново и впервые.

1

Лермонтов погиб двадцати семи лет. Всего каких-нибудь тринадцать лет сознательной и творческой жизни, если отправляться от даты, проставленной под первым сохранившимся стихотворением в рукописной тетради: 1828! Дело происходило в двухэтажном деревянном доме на Большой Молчановке в Москве. Четырнадцатилетний подросток, ученик московского университетского пансиона, начал писать стихи и «как бы по инстинкту переписывал и прибирал их».³

Жизненная трагедия коснулась его в раннем детстве. Матери своей он почти не помнил: она рано сгорела в чахотке. Сейчас же после смерти молодой женщины вокруг младенца разыгралась жестокая семейная распря — борьба между бабкой со стороны матери и его отцом: кому он будет в дальнейшем принадлежать? Причин семейной драмы, страстей, обуревавших обоих претендентов на него,

¹ Александр Блок. Собрание сочинений, т. 5. М.—Л., 1962, стр. 76—77.

² Там же, стр. 27.

³ М. Ю. Лермонтов. Сочинения, т. 6. М.—Л., 1957, стр. 385. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.)

мы по-настоящему не знаем. Существуют темные предания, сообщенные дальними родственниками или знакомыми, но они разноречивы.

Почему самовластная старуха, безмерно обожавшая своего внука, так возненавидела мужа покойной дочери? Почему скромный отставной офицер, участник войны 1812 года, бедняк, владелец нищей деревни в Тульской губернии, едва только овдовел, сразу покинул усадьбу покойной жены и был резко отстранен не только от воспитания сына, но и от возможности свиданий с ним в дальнейшем? Обо всем этом приходится догадываться. Впоследствии судьба отца долго занимала воображение и мучила поэта уже после смерти первого:

Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть...
... Не мне судить, виновен ты или нет;
Ты светом осужден? Но что такое свет?

Или совсем по-гамлетовски:

О мой отец! где ты, где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах?
В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх...

Известно завещание бабки. Оно сделано в пользу внука, — поставлено одно только жестокое условие: полный отказ отца от сына; в ином случае сын лишается наследства от бабки. Вот несколько строк из этого выразительного документа: «После моей дочери остался в малолетстве законной ее сын, а мой внук, Михайло Юрьевич Лермантов, к которому по свойственным чувствам имею неограниченную любовь и привязанность, как единственному предмету услаждения остатка дней моих... если же отец внука истребует, чем, не скрывая чувств моих, нанесут мне величайшее оскорбление...»¹ и далее, не слишком грамотно, в том же духе эгоистической самовластной гордыни.

«Предмет услаждения» остался на руках у бабки, и детство поэта началось. Е. А. Арсеньева — надо отдать ей должное — ничего не жалела для воспитания внука. Он знал все, что должен был знать дворянский ребенок. Ему было привольно и весело в Тарханах Пензенской губернии. Он был пытлив. Музыка, живопись, восковые

¹ «Литературное наследство», № 45-46. М., 1948, стр. 635.

куклы детского театра — все пошло на благо его детству и отрочеству. Он рос и развивался с необыкновенной быстротой и стремительностью.

Само это развитие становится предметом повышенного интереса со стороны юноши, предметом его анализа. У пятнадцатилетнего Лермонтова еще нет никаких разгадок, нет понимания того, что же такое с ним происходит, какие силы скапливаются в нем и приходят между собою в столкновение. Но он постоянно занят собою, удивляется себе, отчасти и ужасается. Во всяком случае, он вправе считать себя существом необычным, — выше или ниже нормы, он не отдает себе отчета, знает только, что вне нормы и, значит, по особому счету ответственный за себя. И это первый стимул для творчества.

Отсюда — гипертрофия памяти. «Я ничего не забываю, ничего» — признание Печорина относится и к его автору.

Рядом с гипертрофией памяти — ее обратная сторона: пристальное всматривание в будущее. Если прошлое в конфликте с настоящим, то настоящее в свою очередь живет мыслью о будущем:

Как цепь гремит за узником, за мной
Так мысль о будущем, и нет иной.

Странный образ! Будущее — и вдруг тюремная цепь! Ведь обычно так говорят о своем прошлом, говорят люди зрелые, прожившие большую часть своей жизни. Но у Лермонтова будущее и прошедшее поменялись местами. С самого начала его лирику наполняют предчувствия: сознание своей непрочности, неблагополучия. Всюду и во всем мысль о неизбежной гибели. Она выражается по-разному и совсем еще по-детски, в наивно преувеличенном, беспричинном ужасе:

Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет, —
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет.
И скоро старость приведет
Меня к могиле...

Или еще проще:

В сырую землю буду я зарыт.
Мой дух утонет в бездне бесконечной...

Или, наконец:

Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет...

Что значило в душевном обиходе юного человека предчувствие ранней гибели, да еще такое точное: плаха? Почему он мог предположить для себя этот конец?

Сказалось и наносное, прочитанное, воспринятое и развитое воображением. Это — как водится в юности. Но предчувствие насильственной гибели преследовало его и в дальнейшем. Оно росло с годами. Было в нем и нечто более важное, чем отроческая тревога. У самой тревоги были реальные основания.

Лермонтов рос в годы после восстания декабристов. В день казни Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина ему было одиннадцать лет. Он рос в той же социальной среде, откуда вышли и декабристы. Дело не в конкретных биографических фактах (они тоже наличествуют), а в общей атмосфере тех лет и той среды. Далеко в Петербурге спешно возводился каменный, крашенный в желтую охру, фасад николаевской империи. На авансцену бюрократического государства вышли новые действующие лица, под стать самому Николаю Первому, — остзейские немцы, вроде Бенкендорфа и Дуббельта. Процесс одичания, снижения дворянской либеральной культуры, борьба с университетским и всяческим иным вольнодумством — все это только начиналось, но уже давало знать о себе во второй половине двадцатых годов. А в далеких, больших и маленьких, богатых и бедных, дворянских усадьбах ютилось опальное дворянство — в недавнем прошлом гвардейская молодежь, победители двенадцатого и четырнадцатого годов, а в годы лермонтовского отрочества рано постаревшие, помрачневшие вольнодумцы, оставшиеся не у дел.

Лермонтов считал себя наследником декабризма. Здесь центральный узел его отроческого и юношеского развития. С годами сознание и самосознание его определялись точнее и обогащались собственным горьким опытом, но основы были заложены в отрочестве. Вот почему незачем сводить мотивы горестных предчувствий к наносному демонизму, к иррациональной мистике. Ведь попытки такого рода тоже были!

Был ли он нелюдким и необщительным? Такое представление о юном Лермонтове распространено в литературе и в обиходном мнении. Оно преувеличено. Было другое, легче объяснимое. Раннее, запойное чтение сделало из него мечтателя. Как многие до него и

после него, он строил воображаемые декорации для своих воображаемых героев, а заодно и себя драпировал в их черные плащи, окутывал всю эту картину загадочным сумраком в духе коричневой светотени рембрандтовских портретов. Рембрандт — самый близкий ему художник:

Ты понимал, о мрачный гений,
Тот грустный безотчетный сон,
Порыв страстей и вдохновений...
...Быть может, ты писал с природы,
И этот лик не идеал!
Или в страдальческие годы
Ты сам себя изображал?

Сам ли себя изображал Лермонтов или изобретал себе загадочное прошлое — все равно, у него, еще мальчика, вообще никакого прошлого не могло быть. Он искал подтверждения и опоры себе в чужих разбитых чувствах и в чужом душевном опустошении; но надежды и опустошение могли быть вычитаны только в книгах, больше нигде. За этим стояла и житейская неопытность, неизбежная для юноши из дворянской среды, но также и жажда деятельности, труда, подвига, бунт молодого чувства и разума. Он искал и находил сильное выражение в слове:

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля...

Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! зачем я не ворон степной?..

Здесь рожден — но нездешний душой! Это ощущение навсегда останется в лирике Лермонтова. Это гипертрофия памяти, создающей свой миф на потребу родословной, возведенной к предкам, выходцам из Шотландии. Будут и другие мифы в лирике Лермонтова. Гипертрофия памяти обернется своего рода прапамятью. Она преследует Лермонтова всю жизнь.

Точно так же сопровождала его, так же обладала гипнотической силой над ним мысль о таинственной, неопределенной власти слова. За год до гибели он признавался:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно. . .
... в храме, средь боя,
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Так формулировал он свою тревогу, уже будучи двадцатишестилетним, взрослым человеком. Но и пятнадцатилетний мальчик признавался в «страшной жажде песнопенья», а семнадцати лет он писал:

Есть слова — объяснить не могу я,
Отчего у них власть надо мной,
Их услышав, опять оживу я. . .

Лермонтов был музыкально одарен. Музыкальная стихия была так же родственна ему, как живописная и пластическая. Может быть, следует поставить в связь с музыкальной одаренностью эту власть над ним речей, чье «значение темно иль ничтожно»? Или сослаться на запись шестнадцатилетнего юноши: «Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что, если б услышал, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать. . .» Это все та же гипертрофия памяти, все то же мифотворчество — вечный удел и вечная тревога человеческой души:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Но только ли о песнях идет речь, только ли о звуках, то есть о музыкальной гармонии? Нет, «есть сила благодатная в созвучии

слов живых», то есть в вечно ускользающем смысле такого созвучия, в самих словах как носителях смысла.

Лермонтов не оставил следов на пути, по которому шел, разгадывая свою тайну, да и нуждался ли он сам в разгадке, не дороже ли был ему поиск!

И другие ведущие мотивы его лирики заложены в ней с самого начала, с отрочества — случай сам по себе единственный в мировой поэзии. Лермонтов без конца варьирует их, переосмысливает, заново модифицирует, ищет точную формулу, адекватную содержанию. В этом смысл его повзрелости. Гипертрофия памяти и пристальность к будущему идут рука об руку. Их сочетание есть не что иное, как обостренное чувство времени. Оно диктует поэту самые важные признания:

Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.

Среди многих лирических самораскрытий, которыми так богато его раннее творчество, эти четыре строки выделяются непосредственностью. В угловатости их тона слышится безотчетная, нерасчетливая правдивость. Так говорит подросток с ломающимся, хриплым голосом. Так говорит сама молодость: *понять я не могу, что значит отдыхать!* Она всегда так говорит, и поблагодарим ее за это.

Обращаясь к девушке, недавно еще любимой, упрекая ее, «зачем ты не была сначала, какой ты стала наконец», — он говорит, в сущности, о том же самом — о времени, напрасно потерянном ради недостойной:

Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?

С его точки зрения это самое грозное обвинение женщине! Время — высшая ценность, отпущенная человеку в обрез.

С поразительным рвением, в лихорадке ночного труда, среди растущих груд исписанной, исчерканной вдоль и поперек силуэтами летящих всадников бумаги искал он выражения для настоящих, ниоткуда не заимствованных, нигде не вычитанных, противоречивых, сталкивающихся друг с другом чувств и мыслей. Это было не легким делом.

И он победил. Его работа кажется сейчас непомерно долгой, так внезапно возмужал Лермонтов. На самом деле прошло всего три-четыре года. Таким было начало. Но и вся его жизнь была началом, прологом, подступом.

Что же произошло с ним за эти решающие юношеские годы?

Внешне немного: Благодородный пансион при Московском университете, Московский университет по словесному отделению и военная школа.

Молодежь, окружавшая Лермонтова в Московском университете, во многом была ему близка. Это были такие же, как он, отпрыски дворянских семейств, более или менее родовитых, настроенные весьма оппозиционно не только к университетской схоластике, но и ко многому другому в русской жизни. Среди студентов той эпохи были Герцен, Огарев, Белинский, Станкевич, Грановский, Кетчер... Если Лермонтов и не встретился, не познакомился, не подружился с ними, это дело случая, но они сидели рядом в тех же аудиториях старого университетского здания на Моховой, слушали тех же профессоров. Круг их чтения и возникших в университете духовных интересов совпадают. Они поклонники Шиллера и трагика Мочалова, восторженные читатели новых стихов Пушкина. Лермонтов на всю жизнь сохранил благодарное воспоминание об атмосфере, царившей в университетских аудиториях:

Святое место! помню я, как сон,
Твои кафе́дры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том,
Как пить: ром с чаем или голый ром;
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сюртуки, висающие клочками.

Упоминание рома и неопрятных сюртуков вносит сюда элемент шутки. Но в целом эти строки серьезнее, чем может показаться. «Заносчивые споры о боге, о вселенной» связаны с философскими интересами студентов: они знакомились с немецкой философией, в частности с Шеллингом. Если эти интересы имели решающее значение в развитии Герцена и Огарева, то не бесследно прошли и для Лермонтова: отголоски увлечения Шеллингом тщательно изучены сейчас в лирике тех лет. «Гордый вид пред гордыми властями» тоже упомянут не случайно, — так глухо сказано об университетской обстановке, далеко не безоблачной. Она тоже хорошо изучена и освещена в нашей науке. «Мы были уверены, — вспоминал значительно позже Герцен, — что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет

вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней».¹ Известны студенческие беспорядки, вызванные недовольством реакционными и бездарными профессорами, которым особенно покровительствовало университетское начальство. Эти беспорядки были далеко не невинным делом и кончались для многих студентов жестокими репрессиями, вплоть до исключения, до сдачи в солдаты, до ссылки в Сибирь. Еще свежа была в Московском университете страшная память об участии Полежаева.

Вторым, жестоким «университетом» оказалась для Лермонтова Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Два года, проведенные в ней, Лермонтов назвал «страшными годами». Так оно и было на самом деле. Он пережил за эти годы крутую ломку: характера, образа жизни, нравственного склада. О том, как приходилось ему ломать себя, приспосабливать к уровню гвардейских ухарей и солдафонов, свидетельствуют поэмы, предназначенные для рукописного юнкерского журнала. Эти «непечатные» строки Лермонтова ничего не могут добавить к его поэтическому облику. С детской старательностью вдвигает он в свой ямб самое дикое сквернословие, какое только существует в русском языке. Ни изобретательности, ни юмора, ни остроумия у него нет и в помине. Есть только одно: желание прослыть бывалым гусаром-циником! Чужеродная стихия, насильно усвоенная, чудовищно выпирает из этих стихов. То, что иному давалось легко, для Лермонтова было пыткой на прокустовом ложе.

Между тем и в университетские и в юнкерские годы за его плечами был уже немалый творческий опыт и багаж. Семнадцатилетний-восемнадцатилетний юноша — уже сложившийся поэт, автор множества лирических стихов, из которых многие навсегда вошли в золотой фонд русской поэзии, автор «Измаила-бея», «Последнего сына вольности», «Ангела смерти». Уже существовали первые наброски «Демона» — он начал его пятнадцати лет. Он начал сразу во всех жанрах: лирика, поэма, роман, драматургия.

Ранняя драматургия Лермонтова являет ряд попыток — новаторских не только для своего времени. Эти пьесы остаются и сейчас неразгаданными в театре. В самом их несовершенстве залог особой самобытности и силы. Литературоведы немало потрудились над тем, чтобы найти здесь перепевы Шиллера, Шекспира, Лессинга, Байрона и еще скольких других, выводя отсюда несамостоятельность Лермонтова, его зависимость от образцов. Напрасный труд! Лермонтов,

¹ А. И. Герцен. Собрание сочинений, т. 8. М.—Л., 1956, стр. 223—224.